



КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

КАМЕННЫЙ КЛАУС

Юный Клаус Штейн вот уже битых шесть минут с остервенением давил и давил на кнопку взрывного устройства, но всё было напрасно, оно не срабатывало. Клаус Штейн разрыдался. Через минуту он выскочил из укрытия и, что было сил, побежал вдоль старого еврейского кладбища по направлению к ещё более старой синагоге. Когда до цели оставалось не более ста пятидесяти метров, Клаус Штейн нажал на спусковой крючок автомата. Эта еврейская семейка вся легла у его ног. И отец, и мать, и две девчонки-близняшки, и этот розовощёкий десятилетний мальчишка, тащивший за собой самокат. Клаус Штейн сразу определил виновника своей неудачи, у мальчишки из кармана коротких штанишек торчал кусок провода, того провода, который вёл к взрывному устройству. Юный Клаус Штейн мог бы доказать этот факт, но кому это сейчас было интересно, перед кем оправдываться, когда не исполнен приказ. Оставалось только пнуть с досадой убитого мальчишку и бежать прочь, подальше от собственной смерти, которая приближалась на броне русского танка, выворачивающего на улицу Майзела с Широкой улицы...

Очень старый Клаус Штейн приехал в Прагу спустя семьдесят три года. Он никогда не думал о том, что вернётся в город своего позора, но последние лет шесть ему бесконечно снились кошмары о невыполненном приказе. Клаус Штейн никому не рассказывал о своём проколе, даже жене. Может быть, он и поделился бы с ней этим в конце концов, но она уже двадцать лет была мертва, она умерла задолго до его навязчивых воспоминаний о сорванном задании.

Клаус Штейн не хотел обращаться к врачу, но несколько месяцев тому назад привокзальная цыганка неожиданно схватила его за руку и, глядя в глаза, тихо прошептала: «Ты должен туда поехать». Старик не стал ничего переспрашивать, он даже не удивился.

Клаус Штейн приехал в Прагу ровно в тот день, когда семьдесят три года тому назад в ярости нажимал и нажимал на кнопку взрывного устройства в надежде на отмщение тем, кто когда-то предал Христа. У него был приказ взорвать Староновую синагогу, в которой нашли убежище на излёте свирепой войны несколько десятков еврейских семей, сумевших сохранить каким-то чудом свои жизни.

Клаус Штейн приехал в Прагу в надежде освободиться от тех видений, которые преследовали его последние годы и высасывали его драгоценное здоровье. Он вернулся в прошлое, чтобы обрести настоящее.

Опираясь на изящную трость Клаус Штейн медленно шёл от Староместской площади по Парижской улице в сторону еврейского квартала Йозефов. Он не спешил. Вечерело. В какой-то момент старик свернул на улицу Червёную и оказался в еврейском предместье. Пройдя ещё один квартал, Клаус Штейн устало опустился на скамейку, стоявшую напротив выхода из старой синагоги. Молитвенный дом был уже закрыт.

Клаус Штейн тяжело дышал, он был стар, и неблизкая дорога сильно утомила его. Старик прикрыл веки и стал ждать.

Так прошёл час, потом другой. Улицы вокруг синагоги опустели, город окутала ночь. Клаус Штейн продолжал в глубокой задумчивости сидеть на скамейке, не ощущая майской ночной прохлады.

Ровно в полночь из синагоги вышел высокий мужчина крепкого телосложения. Он на минуту остановился, поднял воротник плаща, чуть сдвинул на лоб шляпу, вытащил из пачки сигарету и закурил. Бросив спичку в урну, незнакомец неспешно направился к скамейке Клауса Штейна.

Казалось, что Клаус Штейн уснул. Мужчина положил свою тяжёлую руку на плечо старика. Через мгновение всё тело Клауса Штейна задёргалось в конвульсиях, лицо в свете фонаря побледнело и покрылось потом. Ещё миг, и Клаус Штейн в ужасе побежал по улице Майзела в сторону Широкой улицы. Там он резко свернул и помчался по направлению к Влтаве.

Клаус Штейн бежал. Это было удивительно. Бежал старик, бежал, как юный мальчишка, быстро и легко. Ничто в нём и близко не напоминало согбенного инвалида с тростью в руке. Куда-то исчезли одышка и хромота, куда-то исчезли девять десятков прожитых лет. Клаус Штейн бежал, как тогда, в мае сорок пятого, когда он удирал от русского танка, неожиданно выехавшего на улицу, что вела к так и не взорванной им синагоге. Клаус Штейн вновь стал молодым.

Штейн бежал во всю прыть, пока, споткнувшись о брошенный детский самокат, не упал навзничь, сильно ударившись обо что-то головой. Клаус Штейн потерял сознание.

Очнувшись через какое-то время, Клаус Штейн неожиданно для себя разрыдался. Он давно так не рыдал. Пожалуй с того случая, когда произошёл этот досадный сбой с уничтожением синагоги. В течение получаса Штейн никак не мог успокоиться. Его трясло, как в лихорадочном ознобе. Но постепенно всхлипы затихли, и истерика прекратилась.

Клаус Штейн стал осматриваться кругом. И чем быстрее он понимал, куда занесло его необычное преследование, тем тяжелее становилось у него на сердце. Эта тяжесть усиливалась от ощущения движения сотен и сотен могильных надгробий, окружавших со всех сторон Штейна. Тяжесть в груди усиливали и кладбищенские деревья-исполины, росшие тут с незапамятных времён. При свете луны, они, будто сказочные чудовища, размахивали своими ветвями, создавая иллюзию присутствия рядом со Штейном множества душ умерших евреев. Клаус Штейн чувствовал, что теряет рассудок. Казалось, ещё чуть-чуть, и он окончательно сойдёт с ума.

И в этот момент метрах в восьми от Штейна из-за надгробных плит неожиданно появилась группа людей. Впереди шли мужчина и женщина, за ними две девочки одинакового роста, и, чуть приотстав, мальчишка лет десяти. Мальчик на мгновение остановился, поднял с земли самокат и повернул голову в сторону Клауса Штейна. Этого было достаточно, чтобы Клаус узнал его. Штейн убил этого мальчишку тогда, в мае сорок пятого. Убил его и всю его семью. Расстрелял в упор из шмайсера. Расстрелял и рассмеялся.

Клаус Штейн засмеялся и сейчас. Засмеялся, как смеялся только в юности, открыто и счастливо. Смех придал ему сил. Клаус Штейн встал и украдкой последовал за убитой семейкой. Покинув кладбище, он осторожно продолжал идти за ними, стараясь бесшумно ступать по брусчатке. Штейн выслеживал их, чтобы убить окончательно, раз и навсегда.

Улица Широкая сменилась менее широкой улицей, потом ещё менее и ещё, пока не сузилась до двухметровой ширины. В конце последней улицы в тусклом свете одинокого фонаря, в старом двухэтажном обветшалом здании, обнаружилась деревянная дверь, источенная жучком. Глава ненавистной семейки взялся за дверное кольцо и впустил жену с детьми внутрь.

Через минуту туда же проник и Клаус Штейн. Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, Штейн вдруг резко обернулся. Позади него не было двери. Позади него была сплошная каменная стена. У стены стоял давешний незнакомец. Он снял шляпу и широко улыбнулся: «Добро пожаловать в ад, юный Клаус Штейн, добро пожаловать в каменный ад, в ад вечного безмолвия.»

Юный Клаус Штейн узнал незнакомца. Он читал о нём в книге случайно попавшей в его руки, перед тем, как выполнить приказ по взрыву Староновой синагоги.

Это был Голем¹.

ЕСЕНИН

Они шли зелёной. Она впереди, он на три шага сзади. Шли мягко, бесшумно. Ещё позавчера получили вводную.

— Присматривай за ним, он только во второй раз. Опыта нет совсем, из контрабасов. До этого лосем бегал, но по документам не тупил, — задержал её в дверях полковник.

— Хорошо, что не оленем. Ладно, присмотрю. Не впервой, — улыбнулась она.

Ей в последнее время везло, напарники чаще попадались опытные, было спокойно. И вот надо же...

— Без моего приказа ни одного лишнего движения, ни одного звука, ни одного слова. Шаг в шаг. И жесты. При форс-мажоре — по обстановке.

— Знаю, не затупок давно.

— Ну-ну. Уходим ночью.

— Эх, до ночи-то ещё можно и погулять, соловьёв послушать, на закат полюбоваться, — он неумело попытался привлечь её к себе.

— Иди, вон, на берёзе потренируйся нежности, Есенин хренов, — ловким движением ушла она от объятий ухажёра, ткнув его пальцем в гортань.

— Идиотка, я ж пошутил, — закашлявшись, прохрипел он, жадно заглатывая воздух.

Средний палец, резко вскинутый над её головой, завершил короткое свидание.

Под утро они спустились в долину. Каменная река, протекавшая неподалёку, заглушила почти все звуки. Она первой сделала шаг на лесную поляну.

Метрах в семи стояли трое боевиков и о чём-то ожесточённо спорили. Им повезло — два бородатых горца выясняли отношения между собой, стоя вполоборота, наставив друг на друга автоматы. Третий, пытавшийся их успокоить, показывал вышедшим спину.

¹ Голем — глиняный великан, которого, по легенде, создал праведный раввин Лёв для защиты еврейского народа. Лепится из красной глины в рост 10-летнего ребёнка, имитируя, таким образом, действия Бога.

Он чуть не налетел на неё сзади. Не оборачиваясь, она указала ему жестом отступление, а сама бесшумно сползла в траву, и плотно прижалась к земле. Готовить оружие не было смысла, не успеть. Оставалось только ждать и молиться.

Надо бы посмотреть, что с напарником. Она медленно повернула голову, и безудержный хохот чуть не вырвался наружу. Он стоял за берёзой, полностью обхватив её руками и сжав ствол коленями. Чтобы как-то сдержатъ вырывающийся из неё смех, она впиалась зубами в дёрн, и до основания забила свой рот сухой землёй смешанной с лесными травами.

Через несколько минут спор прекратился, и наступила тишина. Выждав, она подняла голову. Боевиков на поляне не было. Она ещё немного полежала в траве, и, уже не в силах больше сдерживаться, начала тихонько похрюкивать.

Напарник, с бледным лицом, продолжал обнимать дерево. Он сросся с ним, как любовники на одной из картинок «Камасутры». Его ногти впились в кору так, что из под них сочилась кровь.

Она отодрала его пальцы от ствола, усадила на землю, достала иголку, и стала колоть ему руки, при этом не переставая хрюкать.

— Изменил, — наконец-то с всхлипом вырвалось из неё, — с берёзой изменил, Есенин.

Полковник встретил вернувшихся раньше срока спецназовцев тревожным взглядом.

— Что произошло, что помешало?

— Берёза, — улыбнувшись, ответила она.

СЧАСТЬЕ

Лето. Пора сенокоса, ягод, первых грибов, тёплых проливных дождей, трясогузок и жаворонков.

Я валяюсь на лежанке с закрытыми глазами и слушаю мелодию раннего утра. Мне уютно и легко. На лице ощущаю какую-то глупую мечтательную полуулыбку — на-верное, счастья.

Со двора доносится петушиная побудка Петра Петровича. Бабушка Маня гремит внизу посудой и ухватом. То закроет заслонкой печное устье, то откроет, выпуская оттуда поток духмяного воздуха. Завтрак готовит для большой семьи. Ходит туда-сюда по кухне, что-то нашёптывая себе под нос. То ли ругает кого, то ли приговаривает. А то вдруг тихонечко запоёт, слов не уловить. Куплет пропоёт, и опять бормочет, мои уши щекочет. Скрипят время от времени сенные двери, выпуская бабушку в кладовку по муку, да по яички. Недовольно взвизгивает люк подпола, и охают ступеньки, когда бабушка Маня грузно спускается за маслом и сметаной, а заодно и квашенной капусткой деду на завтрак, любит он её больно.

Где-то за печкой шебуршит мышка, но кот Матвей и глазом не ведёт. Вернулся с ночной охоты, залез на лежанку, вытянулся рядом со мной, и мурчит чего-то там себе сквозь сон.

Бабушка Маня в очередной раз отодвигает заслонку, гремит ухватом, и кухня наполняется запахом свежеевыпеченного хлеба.

Меня не надо будить. Я сам спускаюсь с печи и жду свою порцию счастья. Ждёт её и кот Матвей, ласкаясь о бабушкины ноги.

— Доброе утро, ба.

— Доброе, доброе, внучок, — бабушка наливает мне большую кружку парного молока, — С полчаса всего, как от коровы.

Потом отрезает здоровый ломоть горячего хлеба, и я, всё с той же блаженной полуулыбкой, выхожу во двор и жмурюсь на утреннее солнышко.

Пётр Петрович важно проходит возле меня, чуть кося взглядом в сторону хлебной краяхи. Кусочек мякиша летит ему вслед.

Со стороны баньки доносятся лязгающие стуки. Это дед набивает косы, скоро на делянку. Я иду к нему босой по огородной тропке, наполненной росой, жуя тёплый хлеб и запиваю его таким же тёплым молоком.

— Доброе утро, дед, — сажусь на завалинку у слегка покосившейся старенькой баньки.

— Здоров, внук, — откликается дед Петя, продолжая своё важное дело.

Я сижу, ем, смотрю на ладную работу деда и втягиваю в себя крапивно-малиновый воздух, замешанный на лыковом запахе, струящимся из предбанника. Мне хорошо.

Скоро баба Маня позовёт завтракать. На столе пышут здоровьем блины и оладушки, шкварчит яичница, в котелке разваливается на кусочки варёная картошка обильно посыпанная укропом и сдобренная сливочным маслом, разложены пучки зелёного лука, редис и свеженькие огурчики. Перед дедом глубокая тарелка квашеной капусты, в середине стола важно пыхтит самовар, а по краям стоят крынки с Зорькиным молоком.

Потом сенокос. Отец в потной рубаше, сноровисто машущий литовкой вслед деду Пете, мама в сбившейся косынке с граблями в руках, смеющаяся тётя Галя, раскидывающая траву для просушки, и озорник Пашка, подбрасывающий ужонка к ногам трусихи Ольги.

В обед пьянящий дух собранной на опушке земляники и хлебный вкус домашнего кваса, а поздним вечером игра в лото всей семьёй по копеечке, печальный звук соседской гармонии деда Игната, задорный смех парней за воротами и звонкие девчачьи голоса, складно перепевающие какую-то эстрадную певичку. Перед сном кружка свежего Зорькиного молока и кусок тёплого бабушкиного хлеба. Не простыл и за день, а может мне это просто кажется. И звёзды, звёзды, звёзды...

Сон наступает мгновенно, лишь только голова тонет в пуховой подушке. Глупая полуулыбка счастья и ночью не сходит с лица.

ЮБИЛЕЙ

Харитоныч всю жизнь в школе. Без малого пятьдесят лет от звонка до звонка. Сколько учеников выпустил, и не счесть. А перед самым юбилеем, всего-то за месяц, плюнул на всё и уволился. Не смог больше этими идиотскими реформами насыщаться, перекушался. Пенсию льготную, слава Богу, ещё лет двадцать назад заработал, ну и спасибо на том. Правда деньги аховые, но огород есть, куры есть, проживёт.

— Ань, не пора ли комнату для подарков освободить, юбилей скоро? — шутил Харитоныч недели за две до знаменательной даты.

— Я тебе и две освобожу, дай только команду, — улыбалась мужу Анна.

За неделю до праздника Харитоныч стал волноваться:

— Что-то из школы ничего нет, ни приглашений каких, ни звонков. Из клуба тоже молчат. А я ж у них туркружок двадцать пять лет вёл. Ну и в избиркоме почти столько же бессменно. В самодеятельности, вот, так до сих пор состою.

— Ты ещё про районное начальство забыл, — подзуживала Харитоныча супруга.

— Эти меня не трогают. У них своя жизнь, у меня своя. А вот наши, считай, что родня, столько лет бок о бок.

— Позвонят ещё, не переживай, — поглаживала мужнины плечи Анна.

— Представляешь, Ань, каждый день в магазин хожу, то директора встречу, то завучей. Здравоемся, и всё. И Петровна, завклубом, ни гу-гу, — за три дня до даты жаловался Харитоныч.

— Позовут, Саш, никуда не денутся. Сюрпризом хотят, видать, порадовать, вот и молчат до поры, до времени.

В вечер перед юбилеем Харитоныч поставил на стол бутылку коньяка.

— Ты чего это? — насторожённо посмотрела на него Анна, — Не рано ли? Праздник-то завтра.

— Не пригласят меня никуда. Забыли. Уволился, и тут же забыли начисто, вычеркнули из своей памяти, будто и не было меня. Вроде, как и из жизни тоже исключили, — налил себе стопку Харитоныч, — Дети-то хоть приедут?

— Приедут, — тяжело вздохнув, вытерла руки об фартук супруга, подсаживаясь к столу. — И мне налей.

Дети приехали с утра, и внуков с собой привезли. Суета, гвалт, поцелуи и объятия несколько взбудрили Харитоныча, и вывели его из печального состояния. Вечером дом наполнился соседями и друзьями. Харитоныч улыбался, слушал здравицы, принимал подарки, но глаза оставались грустными. И вот уже совсем поздно, когда праздник подходил к концу, раздался телефонный звонок.

— Спасибо, Варенька, спасибо, моя золотая. И тебе всего самого доброго, — расплакался к концу разговора Харитоныч.

— Что такое, что случилось, папа? — обеспокоились дети, глядя на плачущего отца.

— Поздравили всё-таки. Не забыли, — вытирал ладонью счастливые слёзы Харитоныч, — Варенька поздравила, Смирнова, с двойки на тройку которая. Не забыли.

МУЖИК

Обстоятельства забросили Виталия Андреевича Плотникова в дальнюю карельскую деревушку, спрятанную в глухих лесах от всевидящего ока цивилизации. Виталий Андреевич собрался писать новый роман, и выбрал это место в силу его оторванности от всяческой мирской суеты. Но и оказавшись среди тишины и покоя, Плотников никак не мог сложить сюжет. Прошло три дня, была исчеркана ни одна страница, а роман не трогался с места.

Написав за весь день несколько предложений, Виталий Андреевич матерно выругался и вышел на крыльцо. Вечерело. На деревню опускались осенние сумерки, укрывая её предзимней прохладой. Выкурив сигарету, Плотников медленно пошёл в сторону единственного магазина. Следовало прикупить кофе, который в какой-то мере теребил мысли писателя, и не давал окончательно погрузиться в апатию.

Дорога была безлюдна и спокойна. Виталий Андреевич в глубокой задумчивости пинал перед собой маленький камешек, не обращая внимания на то, что его окружало.

Метров через триста навстречу писателю из проулка неожиданно вывернул местный житель в рыбацких сапогах и камуфляже. Мужика шатало так, что порой он занимал всю ширину улицы. Столкновение казалось неизбежным, но в последний момент рыбак смог притормозить и на секунду остановился рядом с Виталием Андреевичем, сфокусировав на нём свой тяжёлый взгляд. Плотников тоже исподлобья посмотрел на пьяного. Через мгновение они разошлись в разные стороны.

— Мужик? — вдруг донёлся до писателя осиплый голос рыбака.
Виталий Андреевич никак не отреагировал на этот возглас, мало ли кого ещё мог встретить поддатый селянин, продолжая свой замысловатый путь.

— Точно, мужик, — на сей раз утвердительно прозвучало в некотором отдалении. Плотников вжал голову в плечи.

— Эй, мужик, я к тебе обращаюсь, — требовательно долетело до писателя.

— Чего тебе? — с опаской остановился Виталий Андреевич, выглядывая у дороги подходящий дрын. Дрына не было.

— Ты чей, мужик? — стоял метрах в двадцати рыбаков, обхватив электрический столб.

— В смысле?

— Ты не наш мужик, — набычился мужик.

— Не, не ваш, — попятился Плотников.

— Стой, мужик! — грозно воскликнул рыбаков.

— Чего тебе? — Плотников попятился ещё.

— Тебе плохо, мужик? — неожиданно донеслось от столба.

— С чего ты взял? — растерялся писатель.

— Да идёшь ты как-то скучно, невразумительно идёшь, будто ноги не твои. Еле плавниками шевелишь. И взгляд в землю. Нехорошо.

— Да нет, всё нормально, задумался просто, вот и медленно.

— Задумался? — прищурился рыбаков, — Это плохо, мужик.

— Почему плохо-то? — удивился Виталий Андреевич.

— Вредно, потому что. Думать вообще вредно. Будешь много думать, ничего в жизни сделать не успеешь. Ты не думай, мужик, ты просто живи. Вон красота-то кругом какая, глянь-ка. А ты идёшь, мужик, еле-еле, глаза в землю упёр, и ничего не видишь. А всё почему, мужик? Потому что думаешь. И, наверное, много. Перестань думать, голову подними, и красота сама к тебе придёт. И жить захочешь. Так-то вот.

Рыбаков встряхнул плечами, сосредоточился, и, оторвавшись от столба, продолжил свой путь, мотыляясь по всей ширине дороги.

Виталий Андреевич, открыв от изумления рот, смотрел ему вслед пару минут и вдруг расхохотался.

— Вот это да! Вот это философия! — восторженно ударил он себя по бедру, — И каков философ! Куда там Канту!

«А может и правда — хватит думать?» — Плотников огляделся по сторонам. Красота, возникшая перед ним, ошеломила. Закатная красная полоса в небе, волшебные силуэты вековых елей у околицы, белёсые дымки печных труб, покосившийся штакетник — всё это сразу наполнило стеснённую грудь и заставило писательское сердце вернуться к здоровому ритму.

Виталий Андреевич поднял голову вверх и увидел первые звёзды...

Будущий роман полностью сложился в цельную картину.

СКАЗОЧНЫЙ ЧАЙ

Пассажир в пенсне поднялся вслед за носильщиком в вагон поезда, прошёл в купе, достал портмоне и расплатился.

— Благодарствую, барин, — поклонился носильщик и закрыл дверь.

Барин вынул из саквояжа стопку писчей бумаги, дорожную чернильницу и две ручки. Разложил на столе и задумался.

Через десять минут поезд тронулся.

— Сутки ехать, — предупредил проводник, проверяя билет. — Что изволите, ваше благородие?

— Чаю, — отвлёкся от мыслей пассажир. — Сделаешь, голубчик?

— Сей момент. Сахарку сколько?

— Три куска. Люблю сладкий, очень на мозг благодно действует.

— Ваша правда.

За окном мелькали телеграфные столбы, проплывали деревеньки и станции. По стеклу стекали капли дождя. Поезд «Екатеринбург-Тюмень» плотно вошёл в майскую грозовую ночь.

Господин сосредоточенно что-то писал, зачёркивал, вписывал другие слова. Читал. Морщился. Черкал.

— Голубчик, а чай-то где? — недовольно обратился он к проводнику, заглянувшему в купе.

— А, сей момент, — спохватился тот, — не извольте беспокоиться!

Пассажир вновь погрузился в работу.

За окном забрезжил рассвет, когда господин в пенсне отложил в сторону ручку, растерянно посмотрел на стопку исписанных листов, поискал что-то важное глазами, и грозно открыл дверь купе:

— Голубчик, чай-то где?!

— А, сейчас будет...

За полчаса до конечной станции проводник зашёл за стаканом.

— Отменный у тебя чай оказался, сказочный, — хмуро поблагодарил его господин в пенсне. — Я, спасибо ему, интересный рассказ успел написать.

— Ого! Рассказ! — удивился проводник. — Извиняюсь, ваше благородие, а о чём он?

— О железной дороге, — ехидно усмехнулся пассажир.

— Про нас, значит, — довольно кивнул проводник. — А как название его, если не секрет? Даст Бог, почитаю.

— «Злоумышленник»...

